

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002 >

РОМАН №17 ГАЗЕТА

Зоя Прокопьева / Своим чередом





ПРОКОПЬЕВА Зоя Егоровна

Родилась в 1936 году в селе Белозерское Курганской области в семье кузнеца и крестьянки. Детство будущей писательницы было полусиротским — с 1938 года семья жила без кормильца.

В 1949 году Зоя переезжает в Челябинск. «Университетом» для нее стал Челябинский металлургический комбинат — в 15 лет ее приняли на завод рассыльной, а всего на ЧМЗ она проработала 18 лет — старшим табельщиком, бригадиром производства на строительстве мареновской печи, художником-оформителем. Среднее образование получила в школе рабочей молодежи. Увлекалась парусным спортом, стала яхтенным капитаном, неоднократно побеждала в соревнованиях.

Первые публикации прозы появились в 60-е годы. Большое влияние на творческое становление Прокопьевой оказал поэт Валентин Сорокин, руководивший некоторое время литобъединением «Металлург», которое она посещала.

В 1973 году Зоя Прокопьева вступает в Союз писателей России и получает направление на Высшие литературные курсы. После окончания ВЛК в 1975 году Зоя Прокопьева руководит Бюро пропаганды художественной литературы Челябинской областной писательской организации.

Зоя Прокопьева — автор нескольких книг прозы, вышедших в Челябинске и в Москве. Её талант отмечали Ольга Кожухова, Владимир Цыбин, Рустам Валеев, Лев Пирогов, Лидия Сычёва и др. Вершинным творением Прокопьевой стал роман «Своим чередом», отмеченный литературными премиями им. П. П. Бажова и Д. С. Мамина-Сибирияка. Зоя Егоровна живёт в Челябинской области.

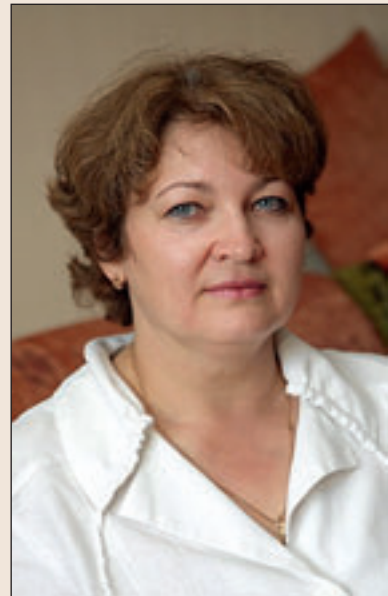
Памяти Людмилы Владимировны Дьячковой

(1961–2021)

Умерла наша Людочка, наш главный казначей, красивая и обаятельная, золотая мама, бабушка, дочь и жена, верный наш друг и надежный сотрудник по «Роман-газете».

Глубоко верующая, жившая по законам милосердия и справедливости, Людмила Владимировна запомнилась всем, кто соприкасался с ней по службе или житейским обстоятельствам, как человек активный, неравнодушный, готовый всегда прийти на помощь, сердечно поддержать и одарить своим теплом. Светлая ей память!

Коллектив и Редакция «Роман-газеты»





Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор

Елена Русакова

В оформлении
обложки

использованы
фотографии
Анатолия Заболоцкого

Права
на использование
товарного знака

«Роман-газета»
принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2021
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные
индексы издания:

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге
«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2021 №17 /1886/ Основана в 1927 г.

Зоя Прокопьева

Своим чередом

Истошино

В деревне гремела музыка. Почти во всех домах надсаживались граммофоны. Народ, забыв про весь свет белый, веселился.

Нил сел возле журчащего ручья, разулся, вынул хлеб, луковицу.

К нему подковыляла дряблотица старуха, пристроила ладошку козырьком над голубыми глазищами и посмотрела на Нила, будто в даль заоблачную:

— Ты, милоч, не в Истошино ли путь держишь? — Голос мягкий, певучий.

— Да нет, — сказал Нил.

— Истошино, Истошино, — вздохнула бабка и, собрав колокол юбок вокруг себя, присела рядом. — А ты, милоч, откеляшный?

— Я издалека, бабуся, хожу, жизнь наблюдаю, заодно присматриваю, где бы гнездо свое свить, — охотно заговорил Нил. — Потому как птица я одичалая — ни гнезда, ни стаи...

— А ты не думай, милоч, не томи себе душу с этих-то пор. Побереги силы. Жизнь — она ведь пришла к нам и ушла. Охо-хо, все мы птицы на этой земле — безгнездовые. — Поджала губы и задумалась бабка, а потом добавила: — Овому — овое...

— Угощайся, что есть, — предложил Нил, пододвигая хлеб — полкалача.

— Не откажусь, дай тебе Господь счастья. — Бабка резво поднялась, вынула из каких-то карманов в юбках жестяную кружку, зачерпнула воды. Была она невелика, подвижна. — Гнездо свить хочешь, а вот и свей тут! Народ древний, спокойный, девки статные. Жила я когда-то в нем...

— А сейчас что же? — Нил скосил глаза на руки бабки — на правой не было двух пальцев.

Бабка заметила его взгляд.

— Руку я, милоч, за любовь покалечила... Муженек топором оттяпал. К столбу и то ревновал. Злыдень был, упокой его душу, Господи. Терпела-терпела, маялась-маялась — ну и прикончила. Вот тогда-то и ушла из деревни... Дороги длинные, а жизнь коротка...

— Как прикончила? — опешил Нил. «Поглядеть — так тихоня, глаза ласковые».

— Натопила печь, вьюшку закрыла да и ушла. Утром с соседкой приходим, а он синенький у порога. Пьяный был. Поголосила... Справила сороковины, дом продала, да вот с тех пор и хожу... Правда, баня у меня здесь есть — своя. Хочешь, живи в ней.

— Да как-то... не знаю еще.

— А чего знать? Иди. Последняя улица, крайний дом — баня под обрывом. С работой еще проще: зайди в кузню, Калина найдет что-нито. Скажи — Дарья велела. Калина есть Калина — сразу узнаешь. В молодости-то он был хорош! Ты на него чуток смахиваешь... Давай-давай, а я уж побегу дальше...

Нил посидел на припеке, умылся. «А что, — решил он, — посмотрю-ка я, что это за веселое Истошино». И, движимый любопытством, огибая березовые лески, спустился к деревне. Нил задами вышел к обрыву и без труда нашел Дарьину баню. Над

хороводом цветущей крапивы и лопухов возвышалась тесовая крыша. Узенькая тропка сквозь буйство травы привела Нила к двери без замка, лишь подпертой колышком.

Внутри было чисто и сухо. В предбаннике стояла кадка воды, на стене висели веники и пучки трав, на столике у окна — керосиновая лампа, будто тут живут и только что вышли.

Вечером он разжег печку, согрел воды, выстирал белье и вымыл голову. Томительная тишина, вытесненная веселой деревней, окутывала баню, огороды, травы, и мнилось Нилу, сидящему на чурочке у двери, будто и нет никакой жизни вокруг, будто и не жил он никогда до этой минуты. Хотелось остаться тут навсегда, сидеть вот так истомленно вечерами, смотреть на звезды, слушать тоскливый писк комаров.

Он не выходил в деревню. Не хотелось ощущать на себе любопытные взгляды. Был пока еще один калач хлеба, вода под обрывом, возле бани на полянке рос щавель, дальше в глушняке травяном сочные будыля борщевика.

Однажды вечером из конопляника вышагнул гость — кряжистый, высокий и большеголовый мужик с черной бородищей, в сапогах, в рубахе навыпуск и с пиджаком на плече. Он остро глянул на Нила.

— Гостишь?

— Садитесь, — предложил Нил чурочку, а сам сел на порог. — Хозяйка где-то ходит.

Мужик опустился на чурочку, ссутулился.

— Нда-а, — сказал он глухим, вязким голосом и вынул из кармана трубку.

— Вы, наверное, Калина? — спросил Нил, не выдержав пронзительного взгляда гостя.

— Н-да, — повторил мужик и взглянул поверх головы Нила в сумрак предбанника.

— Я бабу Дарью встретил, вот и...

Мужик все так же смотрел поверх головы Нила, только на виске забилась жилка, да дернулась смуглая щека и повисли большие тяжелые руки.

— Нда-а, — опять сказал мужик и резко поднялся. — Утром приходи робить. Кузница за Дарьиной улицей. Спросишь.

Нил вскочил, как мальчишка, но гость уже спустился напролом под обрыв.

И остался Нил в Истошном. В этой деревне были украшены все дома: ворота резные, с витыми столбами, наличники кружевные, тетивы у крылечек расписные, полотенца с коньков крыш причудливые. Над печными трубами — жестяные кружева с флюгерами. У каждого дома — светелка с овальным окном, с витражами, даже у амбаров и бань кружевные свесы, но самое дивное чудо в этом селе — церковь: высокая, с бревенчатыми стенами, со стрельчатыми окнами, с двадцатью двумя маковками, крытыми резной дощечкой, будто чешуей рыбной. Чуть поодаль церкви — дом отца Сидора, хлипкого седого старца. За церковью, на склоне холма — часовня, тоже вся резная, а за ней погост. По воскресеньям народ собирался на гульбище. Между церковью и погостом проходила вся жизнь истошинцев. Не было

здесь ни магазина, ни больницы, ни школы. Ребятишки ходили учиться к отцу Сидору, а магазины, базар и больница находились за тридцать километров, в уездном городочке. Жители деревни отвозили на базар свои поделки: кухонную деревянную утварь и другие нужные в хозяйстве предметы, но в основном причудливые и смешные безделушки, радующие детей да глаз и душу взрослого человека. Себе же закупали товаров и продуктов впрок. Мимо этого старинного, некогда бойко торговавшего городка несла свои воды тихая река к южному морю.

Лет пять назад мужики Истошного, взбаламученные по весне героем Гражданской войны Иваном Востриковым, отправились, говорят, на заболотень вздвигать коммуну «Райский сад».

— Хо! — истоиво кричал с телеги Востриков. — Мужики, вы теперя напрочь забудьте про распроскудины трудностей! Мы теперя свободный трудовой народ без всяческих царев в голове. В нашей голове теперя партийный коммунизм, а партийный коммунизм — это, мужики, ого-го! Он не боится трудностей! Хо! Мужики, да мы теперя любые трудностей шапками закидаем, все осилим!

Время от времени Востриков передыхал, расхаживая по телеге, как журавль по полю. Он уже неделю говорил, и глаза его полыхали.

— Мужики, заказов на резьбу нет. Но скоро мы построим всеобщий коммунизм и сами будем заказывать все, что нам надо. Мы теперя сами себе цари и указчики. Мы взяли метлу и вымели с нашей земли всех буржуев. А это значит, что вся земля теперя расцветет. Так что, мужики, у нас под носом гиблая пустошь, а мы мнем пуховики, скоблим деревяшки, тогда как сад-от райский вот он. Тут у нас расцветут красные розы и белые яблоки...

Мужики быстро смели с лица земли несколько березовых перелесков, выкорчевали пни, расчистили от камней непашь и принялись осушать мочажины.

Востриков, страдая зудом нетерпения, собрал у мужиков деньги на построение коммунизма и поехал закупать саженцы для «Райского сада». Он привез воз черенков малины и смородины, а наверху особый мешок с кустом розы.

За два месяца мужики острахолодели и обносились. Созидатели «Райского сада» быстро начали редеть.

Скоро Востриков остался один у розового куста, но не отчаялся. Он обильно полил куст, махнул рукой на оголенную землю и двинулся искать главного садовода земли Ивана Мичурина.

А мужики по одному, тайком, возвратились в деревню. Сгрузили с телег обветшалый скарб и любимые поделки: кто кувшины резные, кто тески-корзинки, кто ложки-кружки, и лишь один Митроха Танюхин бережно снял с телеги чудо-юдо, сотворенное из перекрученного корня березы.

Иван Востриков года три мыкался по земле — искал главного садовода, но так и не нашел. Возвращаясь домой, он еще не знал, что у него снова подрастает двойня.

Его отец, Родион Уварыч, мастерил инструмент для резьбы по дереву. Семья была большая: лежалый дед

Авросим, мать Феоктиса Ждановна — хлопотунья по дому, жена Голендуха, шесть долговязых дочерей и сын последыш — Ванька, это Иван Востриков, значит.

Дочери с утра до ночи ткали полотно льняное, цветастые половики, ковры, накидки на сундуки, а сам родитель с Ванюшкой еле успевали за спросом на инструмент. Родион Уварыч был долговяз, узкогруд, с круглыми, как у птицы, глазами. Таков был и сын. Такие же были и девки — каждая доска доской. Пока он выдавал дочерей замуж — обедел напроочь. Исчезла со двора скотина и даже станки, древнее которых в деревне не было. Сел Родион Уварыч на верстак и призадумался. Тут ему на глаза и подвернулся Ванюшка.

— А что, сын? — спросил родитель и, не дождав-шись ответа, поехал искать невесту для сына. Нашел. За тридцать верст в деревне Харьино жила богатырская семья Котофеевых. У Бояна Котофеева, хлебопашца, было семь сыновей и дочь Харитинья.

Никто не догадывался просватать ее — боялись. Кроткая, но могочая деваха кидала мешки с зерном, точно подушки. Родион Уварыч увидел Харитинью возле мельницы-ветрянки и ахнул. Он тут же узнал, чья деваха, и без особого труда сосватал. Свадьбу играли в Истошном. Родион Уварыч залез в долги, но закатил пир.

Не успел Ваня Востриков приглядеться к молодой жене, а тут — война с германцем. Ходил в штыки. Потом братался.

Потом всех отпустили пахать и сеять. Пришел Иван домой, а там бегают шкет — Уварка, сын, значит. Пока разглядывал жену Харитинью — завернули на Гражданскую. За шесть лет Иван Востриков побывал и у белых, и у красных. Стал сильно разбираться в международном положении и текущем моменте.

Домой вернулся героем: с поля боя вынес раненого красного командира, — и стал ходить в буденковке и с ремнем через грудь.

Пока он воевал, жена Харя похоронила деда Авросима, бабу Феоктису, свекровь Голендуху и свекра — Родиона Уварыча. Пришел Иван, а в доме кроткая великанша жена, верстастый сын Уварка и две тошние, пугливые девчурки — дочери, значит. Очень затосковал Иван, сидючи на верстаке батюшки. Боясь заходить в дом, день сидел, ночь сидел, на рассвете выскочил из ограды и пошел по деревне.

Ходил, ходил и принялся агитировать мужиков. Говорил целую неделю, пока Харитинья как-то под вечер не сдернула его с телеги.

— Дети просят показать отца, — робко сказала она и молча унесла мужа домой.

Ночью на Ивана обрушилось море ласки, и он, забыв испугаться, впервые назвал жену Харюшкой...

Вернувшись в свою деревню через три года, Иван заглянул на ту непашь, где истошинцы пытались воздвигнуть «Райский сад». Среди зарослей малиника и одичалой смородины, окаймляемой щедрыми покосными травами, снова вымахали кривые березняки да осинники. Иван Востриков, с трудом продираясь через кустарники и дуроломные травы, уныло оглядывал пышную зелень и вдруг услышал

какой-то странный гуд, а потом раскрыл рот — на круглой поляне буйно полыхал куст алых роз. Над ним вилась туча пчел и шмелей. Иван Востриков выронил свою тощую котомку и, жадно вдыхая неслышимый запах, зарыдал.

После, в доказательство своей правоты и убежденности, он снова агитировал мужиков возродить коммуну «Райский сад», водил их дивиться красоте цветов на кусте, терпкий запах которых дурманит головы мужикам, понуждая одних видеть странное диво — какую-то чудно-счастливую жизнь в белых городах-садах, других — то летать над землей со скоростью ветра, то парить над горами, лесами, морями, третьих — блаженно улыбаться, будто они постигли что-то неземное или увидели призрачное, от чего все остальное в жизни — трын-трава.

Стоило, говорили, людям подойти к кусту роз на пять шагов, как с ними происходило что-то странное: летали, иступленно плясали, пока не падали на колени или плакали и обнимались. Иногда мужики соглашались с Иваном Востриковым и тут же принимались корчевать перелески, но молодая поросль почему-то тотчас поднималась следом и на глазах у всех быстро затягивала земные раны и весело на ветру шумела.

Дарья оказалась права: люди в Истошном были высоки ростом, дружны и степенны, знали себе цену за пределами деревни, а дома забывали все и веселились по каждому поводу, а иногда и без повода.

Три дня Нил потратил на обход деревни. Заходил с одного конца улицы утром, на втором конце оказывался вечером. «Это еще что, — скажет ему после Дарья, — тут один пришлый, говорят, ученый, как зашел с одного края деревни, ходил по ней, ходил и только через месяц вышел к церкви. Перед церковью сидел-сидел, сидел-сидел, да так и остался сидеть. Лето прошло. Осень прошла. Зима уж навелась, а он все сидит. Поднял, говорят, его отец Сидор и силком увел в дом к себе. Отец Сидор, говорят, ведет его, а тот оглядывается да плачет, оглядывается да плачет. Так и изощел слезой, сидючи день и ночь у окна в доме батюшки... А ты говоришь — три дня... Я уж, милоч, тут выросла, а гляжу с холма на церкву нашу, да ежли еще на закатной заре, так, веришь ли, встану и стою, и стою, а сяду — сижу и сижу, пока звезды над ней не высыпают. А ночами, веришь ли, нет ли, только и звезды над ней самые крупные. Думаю я иной раз, думаю, гляжу на небушко, а звезды все ближе и ближе. И звенят, и звенят... Ты вот улыбаешься, Нилушко, а красоту-те человек не бережет. Привыкает он, человек-то, к красоте. Замечать перестает, где живет, почему живет... Молоденька была я еще, перед свадьбой выбежала на крылечко ночью — соловьи-те в черемухе и поют, и поют, лягухи в озерке будто по железу скребут, коростеля да выпи надсажаются... Стою я, вроде и хорошо мне, а сердце давит и давит, хоть лети куда-нито, хоть плачь. А тут гляжу: одна звездочка повалилась, повалилась и все ближе и ближе — и вот уж она облетела деревню, повисела над маковками церковными, потом сдвинулась да и упала на вершину холма. Всю ночь я не спала, глядела все на холм, а она всю ночь до

утра просветилась там... Побежала я туда. Взобралась, гляжу: трава подгорела, а кака не подгорела — вытоптана. Села я и заревела: кто-то уж успел до меня побывать тут — унести звездочку. Солнышко взошло, а я сижу. Солнышко надо мной повисло, а я все сижу. Солнышко на закат, а я все сижу. Оглянулась, будто кто подтолкнул меня, а там, за спиной, камушек лежит. Взяла я его в руку — он сияет, да тепленький такой. Тут смотрю: поднимается отец Сидор. «Пойдем, — говорит, — дочь моя, к людям...» Я ему рассказываю, что-де видела летящую звезду. А он мне: «Камушек этот береги, это, — крик, — звезда твоя...»

Только не уберегла я камушек — муженек мой его кинул в речку. На этом месте омут теперь, и ночами он светится — дно видно... Вот. А ты, Нилушко, говоришь — три дня. Я, милоч, всю жизнь тут хожу вокруг, хожу и удивляюсь, удивляюсь и живу...»

К Дарье Нил привязался — не вечно же приручать мышей, хотя с приходом бабки мыши исчезали. Приходила бабка, за ней приходил кот, серый, пушистый, с нахальными желтыми глазами. Ночи по две он наводил порядок в мышинном царстве, после отлеживался. И когда бабка уходила бродяжить, в бане становилось неуютно: не так цвела на окне геранька, опять шныряли мыши, недопекался хлеб.

Калина работал истово. Никогда про Дарью не заговаривал, и единственное, что от него можно было услышать, — это тягучее «нда-а...» Лишь по интонации голоса Нил научился распознавать, что было за этим «нда-а...» Похвала ли или недовольство.

Они подковывали лошадей, лудили посуду, ладили дверные петли, крючки, и однажды по заказу Клима Ивина, молодого зажиточного мужика, для любимой третьей жены его Нил выковал крест...

Дня два ковал он этот крест, и когда Клим пришел за своим заказом, то, по рассказам Матрены, крест будто бы сам вышагнул из кузницы навстречу Климу и пошел с ним-де рядом по улице. Матрена рассказывала по всей деревне бабам, что первый раз крест остановился супротив дома Клима, второй-де раз замер пред отцом Сидором, и тут будто бы все цыплята деревни, которые любили сопровождать и доверчиво двигаться возле батюшки, рассыпались горохом в разные стороны, а один цыпленок, сама видела, с перепугу шмыгнул под ветхий подол рясы. Потом крест двинулся на погост и встал навечно у изножья могилы третьей жены Клима, под кружевную тень молодой березки. Эта молва со скоростью ветра облетела деревню, и все повалили вначале на кладбище, после завернули к кузнице с уважением посмотреть на Нила и спросить: кто он и родом откуда?

Вечером к Дарьиной бане пожаловал сам батюшка — ветхий старец с испытанным бледным лицом, густо усеянным старческими веснушками, которое время от времени вдруг озарялось голубовато-мягким светом из тускло-серых глаз.

Никто не знал, сколько лет батюшке, но в деревне все помнили, что он крестил и учил не только их детей, а и отцов, и прадедов.

Сказав: «Мир дому сему», отец Сидор уселся на чурочку и принялся пытливым взглядом Нила.

Пока он разглядывал Нила, котелок с водой для вечернего чая вскипел и залил костер, а в рукаве рясы проснулся котенок, сладко мяукнул. Котенок вылез из тьмы рукава — весь рыжий — и, мягко мурлыча, попытался лапкой раскатать тяжело свисающую с тоненькой шеи батюшки золотую цепь с увесистым золотым крестом. Это котенку оказалось не под силу, тогда он стал ловить на золоте блики заходящего солнца.

— Ангел мой, не мешало бы тебе исповедаться, — погладив котенка, сказал отец Сидор.

— А мне, батюшка, не в чем, — усмехнулся Нил. Он стоял, привалившись спиной к колодине банной двери, высота которой еле-еле доходила до плеча. — Жил я, как все... Грехов вроде бы пока не имею, а там кто его знает, как дальше...

— Пьешь?

— Сказать — пью, вроде не очень, сказать — не пью, тоже как бы не так...

— А семья?

— Один я, батюшка.

— К нам что привело?

— Да так, случайно... Ходил-ходил по свету — ни гнезда, ни крыши, а тут баушку Дарью встретил — надоумила... В баню вот свою пустила, велела идти к Калине Иванычу... Вот и весь я... Родитель мой помер давно, а тетка недавно...

Тут золотая цепь на шее отца Сидора шевельнулась сама по себе, до смерти напугав котенка. Котенок ошалело вспрыгнул на плечо к батюшке, взгорбатил спину и, воинственно распушив хвост, жалобно зашипел.

— Ну что ж, сын мой, живи, — разрешил отец Сидор подымаясь. — И впредь не греши... Помогай ближнему...

Жил Нил все так же в бане. Кто-то приходил в его отсутствие, подметал, приносил свежей воды, заправлял лампу. Вечерами он приручал мышью. Вскоре в соседней деревне он за бесценок купил рубленый дом. Подвел под дом полозья, нанял десяток лошадей и перевез дом к обрыву, рядом с Дарьиной баней.

Этот дом свой — небольшой пятистенок — Нил поставил на высокий фундамент, окнами на юг и на запад. На юг — вся как на ладони деревня, на запад — вид на холм и церковь, на обрыв, под обрывом вилась тихая речушка, поросшая по берегам черемухой и тальником, а дальше — березняки и синь бескрайняя. Жители Истошного дивились сообразительности чужака, прикидывали, кого же он выберет в жены. И все сходились на Шурке Лукьяновой. Ее отец имел большой двор, породистых лошадей и масляной машину. Бабские пересуды дошли, видать, и до Шурки, если насмелилась деваха пойти в кузницу поглядеть, кого же ей все прочтат. Но ни гордая осанка Шурки, ни статность ее, ни лошади с масляной машиной в придачу не заинтересовали Нила.

А Шурка Лукьянова, уставшая кидать игривые взгляды на Нила, отважилась изведать великую силу Клима Ивина.

Двое суток, говорят, отец искал Шурку, и двое суток, говорят, в ограде Клима мычала и металась не-

кормленная скотина. А рыжая кошка, есть очевидцы, пулей вылетела из дома, перемахнула ворота, взметнулась на телеграфный столб и принялась истошно орать. Все коты деревни, говорят, ринулись на любовный зов и дружно стали бить хвостами о землю и подрывать столб, с которого рыжая кошка Клима ну никак не хотела слезать. К утру, говорят, столб рухнул. Председателя сельсовета обвинили во вредительстве, так как из соседнего колхоза «Заря восхода» вовремя не попала какая-то телефонная сводка на стол районного начальства. Кто-то, говорят, рискнул заглянуть в шелку ставней климовского дома — что же там этакое делается?..

Климовская скотина на третьи сутки порушила ограду и разбрелась по деревне. Коровы тыкались мордами бабам в подолы, мычали. В конце концов бабы пожалели коров, взяли ведра и прямо посередине улицы подоили горемычных. Дошел слух и до отца Шурки. Тот с радости напился, вымазал почему-то свои собственные ворота дегтем и с выпивохой Танюхиным подался на охоту. Говорят, они дорогой добавили, заблудились и вышли к озерку, а там полно уток. Залегли. По одной убили. «Чего-то они не взлетают?» — удивился Митроха Танюхин. «Так они же дикие, — определил Шуркин отец и добавил: — Вот дичи-то! Глянь-ко, Митроха, дичи-то! Ах ты, комариный пух? Д-да-вай!» Перестреляли, говорят, всех уток. «Ну, Митроха, лезь! — скомандовал Лукьянов. — Нет, давай еще по стопочке, а потом лезь!» Выпили. Митроха стал раздеваться. Не успел дораздеться, как из-за холма показались жители Истошного — кто с дубиной, кто с вилами.

— А что, — спросил Лукьянов, — мужики, аль война началась? Куда вы?

Бабы оглядели озерко, заголосили, замахали руками — вот-вот взлетят.

— Ироды-ы! Всех уток наших порешили!

— Каких это ваших? — отрезвел Лукьянов. — А где мои?

— А чего это ваших? — поддакнул Митроха, выпутывая ноги из штанов.

Кончилось тем, что, прикрыв наготу, Митроха полез драться на Лукьянова: мол, он сказал, что утки дикие... С трудом разняли охотников и отвели в деревню. Назавтра охотники помирились и пошли по дворам расплачиваться за уток. В одном дворе ограда лежала поперек, и все двери были открыты.

— Эй, хозяйка, — заорал Митроха. — Выходи!

На порог выплыло что-то белое.

— Свят, свят! — вдруг мелко закрестился Лукьянов и стал падать. — Д-доченька-а!

Белое видение вмиг растаяло и оказалось Шуркой в простыне.

— Клим, воды, быстро!.. Тятенька, родименький, да прости ты меня, непутевую-у, — бухнулась на колени Шурка, заползала около.

Клим выволок бадью с водой, сообразил — и окатил обоих.

— Папаша, да мы, да я... — тоже бухнулся на колени. Митроха стоял истуканом и пялился на зацеполенные груди Шурки, вынырнувшие из-под мо-

крой простыни. Наконец Лукьянов очухался, захватал ртом воздух, будто снулая рыба.

— Тятенька-а, — вопила Шурка, — не умирай!

— Ду-ура! — Папаня сглотнул и добавил: — Прикройся!.. Бесстыжая!..

— Ой! — взвизгнула Шурка.

Митроха сморгнул, а Шурку уж унесло как ветром.

— Папаня, да мы... да я... — мямлил Клим. Был он бос, в расстегнутой рубахе и весь какой-то измочаленный, даже чуть похудевший.

— Встань, отрок! — строго сказал папаша. — Выпить готовь! А ты, Митроха, подыми-ка меня на ноги.

В горнице что-то хриплое, томное шептал граммофон. Посреди пола лежала перина. Длинный стол был покрыт стеганым одеялом, в углу стыдливо, стоймя, жался диванчик, ковер на стене висел боком.

— Эт-то что такое? — рывкнул Лукьянов.

Шурка и Клим замерли.

— Я тебя, дочь, спрашиваю: что это такое? А?

— Дык мы... — заикнулся Клим.

— А ты помолчи. Я вот ее спрашиваю: что это такое! А?

Шурка, уже в платье, понуро смотрела под ноги.

— Я тебя чему учил в доме? А? Порядку учил. Вот чтобы через пять минут все было, как дома. Арш!.. А тебе я что говорил? — накинусь Лукьянов на Клима.

Клим рысцой из горницы.

До вечера сидели за столом и глушили водку — бутылку за бутылкой. Клим порушил трех петухов и курицу. Шурка цвела и вихрем носилась от стола до погреба за соленьями. Опять насаживался граммофон. На закате Лукьянов развел костер из спичек на белой скатерти и, глядя на огонь, стукнул по столу кулаком.

— Вот что, милые, спите вы где хотите и как... кхе, кхе... Но токо чтоб к весне у меня внучок был. Ясно?.. М-митроха, д-давай!

...Ямщик, не гони лошадей:

На-ам некуда больше спешить...

И-и-и-ех, нам некуда больше спешить...

И-и-и-ех, нам некого бо-ольше лю-уби-ить...

И только ночью Лукьянов с Танюхиным, охрипев от песен, захотели простору.

На крыльце, приобняв Митроху, Лукьянов трезво вздохнул на ясную луну:

— Э-эх-ха, паря, ноченька-та...

В дурманной тишине цвиркали сверчки, взгавкивали собаки, сонно перекликались пичуги, пахло дымом, травами, навозом и изо всех темных углов веяло незнакомой таинственностью.

По грядкам зелени двинулись на зады огородов к речушке. Картофельная ботва то и дело норвила запутать ноги Лукьянова, он непрестанно падал и мягко, плачуще вопрошал:

— Где мои молодые дожди, а? Где мои соловьи, Мит-роха? Э-эх, ноченька-а!... Все пронеслось, все пролетело!..

— Ты уж чего это так-то, Лукьян? Ты не печалься, не горюй... У нас еще того-этого... Ух, сколько времени-то. Мы еще с тобой такой всеобщий, для

всей Рассеи, дворец разукрасим — у меня вон на колонны дубки сохнут еще тятеньки мово... Ведь когда-нибудь, поди, начнут их строить, дворцы-то, а? Ведь вспомнят про нас, позовут...

Ночью вся скотина Клима вернулась в ограду. Утром Шурка выскочила на крыльцо и ошалела — полный двор скотины. Позвала Клима:

- Климущка, это что?
- Дык... дык вроде наша...
- Вся?
- Дык... вся...
- Что ж я с ней делать-то буду?

— Дык что делать — живет пусть, — коротко решил проблему Клима и, увидев погром на дворе, заскреб затылок.

Постоял, постоял, взял топор и принялся поднимать ограду. И ничего, говорят, не оставалось Шурке, как тоже заняться хозяйством.

Попутру Лукьянов, ежась от холодной росы и затажного похмелья, отправил Митроху собирать мужиков, а сам двинулся домой. Наточил ножи, мигом порешил двух баранов, годовалого бычка, десятка два кур. Жена его, Федора, скрестив на груди руки, молча смотрела с крыльца на деловитого мужика. Подошедшей ватаге мужиков Лукьян указал на штабель плах возле амбара, на загубленную живность и приказал соорудить столы перед воротами и костры с вертелами.

- А ты, Митроха, з-за мной!..

В плетеную коробушку поспинали все копчености: колбасы домашние, окорока, гусей; из подвала выволокли все солености: рыжики, маслята, капусту, огурцы, — два ведра масла. Наконец Лукьянов остановился посередине двора, обвел все успокоенным взглядом, всплеснул руками:

— Федора, а ты, крапива ясная, чего стоишь? Н-на-ряжайся! Нет, постой!.. Вначале мне сваргань все парадное... Нет. Вначале приволоки граммофону. Опосля мне все хухры-мухры, штоб я селезнем выплыл... Быстро!..

Федора молча сдвинулась.

На музыку и бойкий перестук топоров сошлась вся деревня. Бабы посмотрели-посмотрели на серьезность затеваемого, пошущукались и разбежались. Вскоре вся улица запестрела разнаряженными бабами, волокущими корзины яиц, зелени, блюда с ягодой, с пирогами.

К полудню все было готово.

Федора вышла на крыльцо в ярком сарафане, в старинном, убранном самоцветными камнями кокошнике, чернобровая, синеглазая. Она степенно поклонилась народу.

- Кого встречаем-то, Лукьяныч, а? — спросила.

— Эх-хэ, гли-кось ты на ие! — ахнул Лукьян Лукьянов и раскрыл рот на жену. — Эка, крапива ясная, это куда ж это ты намылилась?

Митроха ткнул Лукьяна в бок, прошипел:

- Сдурел. Глянь-кось на себя-то...

Оглядел себя Лукьян, захлюстанного, загоготал и побежал переодеваться.

К Федоре на крыльцо подплыла всезнающая Матрена.

- В церкву бы надо... — молвила.

- Зачем?

— Как это зачем? — удивилась Матрена. — Так ведь дочь-то у тебя одна. Одну ведь дочь-то выдаешь замуж...

— Во-он оно что, — протянула Федора. — Нет уж, церкву не надо. Как жила — пусть так и живет моя дочь...

- Да ведь грех...

- Кругом теперь грех. А жених-то хоть кто?

Тут вылетел Лукьян. В синей расшитой рубахе с желтым крученым пояском, сапоги хромовые блестят, на черных штанах складочки. Щеки впалые выбриты, и седая куделька на голове приглажена — не узнать Лукьяна.

— Н-ну, мужики, давай за стол! — распорядился. — Засадением по махонькой!..

— Окстись, непуть, — подняла руку Матрена, — а где молодые?

— Мо-молодые? — подняв брови, хмыкнул Лукьян. — Дак, поди, спят еще? Мда-а, — поскреб за ухом. — М-мит-роха, крикни-ко их!..

Молодых крикнули.

Шурка прилетела в мятом ситцевом платишке, в каком три дня назад оказалась на приречной тропочке перед Климом. Увидев скопище народа и столы перед родительским домом, Шурка опешила.

- Люди, что тут тако, а? Люди!..

Пробралась Шурка к крыльцу: отец с матерью — вот они стоят.

— Маменька-а-а, я... да мы... век... — краснея и оглядываясь на веселый народ, Шурка бухнулась в ноги родителям.

— Не позорь, — строго сказала Федора. — Ступай, приберись, н-невеста... А ты, отец, пошли-кого-нито к жениху, не ровен час, тоже прилетит в мятых подштанниках.

Наконец привели расфуфыренного Клима — черный костюм, белая рубашка, ветка таволги в нагрудном кармашке — чин-чинарем, будто перворазовый жених. А невеста — в белой кофте и юбке ярко-сиреневого цвета.

— Эта теперича кака же у его будет? — шамкали старухи.

- Ой, девоньки, кажись, четвертая ужо...

- А юбка-та, юбка...

- А церква-та как же?..

— Вот теперя оба под стать! Где ж у ево шары-то были ранее, а? Трех ведь ухоронил...

- А можа, и эту...

- Не-е, эта наша, а те привозные...

— Все ж таки в церкву бы надо, — сокрушалась Матрена, — ой, прогневим Бога, ой, прогневим!..

Но когда умостились за столами, наспех прикрытыми разномастными скатертями, черной свечой появился в проулке отец Сидор. Мелкими шажками он приблизился к молодым и осенил их крестом.

— Плодитесь, дети Христовы... Плодитесь и размножайтесь. Аминь!

Дарья исправно вела хозяйство Нила, лишь иногда исчезала, но ненадолго. Поначалу, занедужив, она неделями не выходила из бани, тогда Нил шел за ней — Дарья упиралась, отговаривалась, что-де обременять никого не хочет.

— Ты, мать, только не царапайся, — просил Нил и, без лишних слов, закручивал Дарью в одеяло и уносил ее в дом.

— Ты б, милоч, завел каку-нито голубицу, я б напоследок хоть с ребеночком потетешкалась, — просила Дарья, ворочаясь в кровати и умащиваясь. — Не могу я, милоч, видеть сыновей своих. Чувствую — кровь моя, а души чужие. Его это дети, не мои, — и горько вздыхала. — А что изменишь — жизнь прожита. Так, не так, а прожита. Да и ты проживешь — так ли, этак ли. Ты не обижайся, милоч, что скажу я, — поменьше бы роскошествовал. Вон и граммофон завел — не к добру, Нила, ой, не к добру... Продай ты его.

Нил сидел возле кровати, оплетал бутылку. Усмехался:

— Да ты что, мать! У всех есть, а нам с тобой и не надо, что ли?

— Так ить посмотришь — вроде у одного голова есть, на другого посмотришь — как будто и есть и как будто бы никогда и не бывало. Так вот тот, у которого никогда головы-то и не бывало, вдруг очухнется, схватится за нее — есть ли, тут ли? И начнет доказывать всем, что она у него есть...

— Ты что-то, мать, мудруешь? Попроше бы...

— А куды проше-то? Я тебе и говорю — живи понеприметнее... Ты косил ли когда-нито?

— Ну, косил.

— Ну так вот, идешь, бывало, косишь, ан вдруг над травушкой островок цветов возвышается — остановиться бы, залюбоваться бы да и оставить на семянушки, пусть бы росла, так куда там — все подряд, все под корень, в одну копешку... Или вот еще, поедешь за дровами в лес, встанешь — какую березу рубить? Ну и рубишь самую статную, самую высокую... Вот я и говорю: не возвышайся, не высовывайся, приметят — срубят. Ты молодой ишо, а впереди ой сколько горюшка! Шибко-то не обзаводись: не ровен час — все прахом пойдет...

— Куда пойдет, куда? — горячился Нил. — Беляки разбежались, банды все переловили, мор прошел. Народ, да хоть и в вашем Истошном, то и дело веселится, а это значит, что бедняков все меньше и меньше...

— Во то-то и оно, милоч, это в Истошном только и веселятся все поголовно — тоже не к добру, помяни мое слово, не к добру. Истошное-то славилось мастерами, резали дерева, камни, железо. Этих мастеров закупил со всей Расеи первый Демидов еще при Петре-батюшке. Ты ж видишь: народ здесь статный, упрямый — цену себе знает. Еще в те времена им поблажка была — ставить себе избы, потому как славили Расею на весь мир, украшали дворцы резьбой диковинной. Жениться вот только разрешалось на своих дворовых, и то — кого выберет приказчик, а не на том, кто полюбится; это чтоб душа у человека всю жизнь тосковала, чтоб в резьбе той диковинной выплескивалась красотой недозволенной. Народ го-

рунился, спивался да руки на себя накладывал — отсюда и Истошное. Да, кроме того, большак рядом — все этапные да этапные: в рудники уральские да в Сибирь-матушку гнали народ день и ночь. Потом уж потихоньку наши мужики себя выкупать начали. Правда, во все войны мастеровых не трогали. Мало-помалу мужики богатели, избы начали ставить просторные, ну а как уж советска-та власть наступила, вовсе раскошелились — каждый сам по себе, хозяин. Мастерство свое забывают, охальники, — до сих пор веселятся и веселятся... Ох, не к добру веселятся...

— Слышь-ка, мать, сыновья у тебя есть, а дочки, что ж, ни одной? — Нил бросил оплетать бутылку, взялся ставить самовар.

— Да как тебе сказать, — замялась бабка, — и есть, и нету.

— Сейчас мы с тобой чай пить будем, — хлопоча возле самовара, говорил Нил. — А я как-то видел молотуху у бани...

— То Калины дочь, милоч, — Ульяна.

— Калины? Что-то не говорил он про дочь.

— Золото девка, золото, только не в те руки попала. Мужик у нее аховый, пустобрех, выпивоха — три года живут, а ребеночка нет и нет. Взаперти ее держит. Вот ведь напасть-то какая. И для кого цвела?.. — Дарья заворочалась, кровать заскрипела. — Я, милоч, на печь заберусь, что-то кости ноют.

— Куда на печь, чай кто пить будет?

— Дак ить...

— Чаю попьем — лежи, я сейчас стол придвину, а на печь после заберешься.

Широко веселилось со свадьбой Шурки и Клима Истошное. На закате третьего дня Лукьян залез на крышу своего дома, обнял голову деревянного коня и пустил по ветру в лицо все свои деньги.

— А чего ему деньги, — очищая к ужину зеленый лук, вздыхала Дарья. — Он, Лукьян-от, Перфилий Лопухов да Федор Шайкин испокон брали у богатых мужиков землю в аренду. Сами не робливали. Нанимали бедняков безземельных, бродяг — в общем, мали перекатную. По осеням им хлебушко в амбары свозят, расчет тут же получают и снова разбредаются до весны. Волки сыты, и овцы целы. А потом наши же мужики у Лукьяна-та, Перфилия да Федора-то Шайкина этот же хлебушко и скупают.

— А что, кроме этих, никто больше и не сеет хлеба-то? — удивился Нил.

— Да как не сеют — сеют. Гордей Чумазов сеет, да вот и Клим сеет. Только он сеет один овес...

— И всё?

— Всё. А ни к чему остальным-то. Мороки много. Купить дешевле выходит, чем самому пахать да сеять.

— Как это?

— А хорошему-то умельцу выгоднее месяц посидеть за верстаком — и весь год с хлебушком. За огородами да за скотиной бабы ходят. Вот косьба — мужикам.

— Мать, а что же к нам Ульяна никогда не зайдет?

— Что ты, что ты, Митроха с ее глаз не спускает.

— Что же она взаперти-то делает?

— А кружева плетет. Сам-то Митроха брезгует мелкой работой — ему подавай все искусное, а жить-то ведь чем-то надо...

— Нда-а, — покачал головой Нил и надолго задумался.

Осенью Нил поехал на базар в городочек и на оставшиеся деньги от проданного отчего дома купил выездную лошадь — тонконогую, с вольной гривой, серого в яблоках жеребца — и легкую пролетку.

Не успел Нил въехать в деревню, как тотчас во всех дворах заволновались жеребцы и заржали кобылы. Мужики понимающе почесали затылки и потянулись к воротам Нила. Увидели жеребца и наперебой принялись торговаться, суля за коня цену, в десять раз больше уплаченной. Жеребец косил на мужиков фиолетовый глаз и, когда кто-нибудь подходил ощупать холку или заглянуть в зубы, рвался с привязи, вставал на дыбы.

— Ишь ты, гордый какой! — восхищались мужики, принаравливаясь зайти сбоку или спереди — наглядеться вдосталь.

— Экий токо во степях мог вырасти.

— Не, у цыган...

— Да-а, в наших краях таких не видать было...

— Повезло тебе, парень! Ух, повезло!

— Что говорить — хорош конь, хорош!

— Продай, а? Продай, парень!..

— А я трех отдам — бери на выбор...

Продать коня Нил отказался. Тогда кто-то опомнился и попросил разрешения привести к жеребцу свою кобылу. И тут все разом захотели покрыть кобыл в деревне, и чтобы Нил ни под каким предлогом не вздумал пустить коня на сторону.

Нил обещал.

Весной Нил вспахал целину около бани — посадил картошку. Дарья разбила несколько грядок под овощи. Под окнами Нил огородил палисадник, для улады посадил сирень, деревце рябины да пушистую елочку. Дарья все поглядывала на Нила, уговаривала:

— Жениться бы пора тебе, Нила, пока жива я — выпестую тебе ребеночка-та.

— Ладно, мать, по осени...

— Зимусь ты говорил — по весне...

— Ладно, ладно, — смеялся Нил, — вот соберусь с силами, умоюсь, костюм подглажу и — на вечерки, приведу первую попавшуюся.

— Годы-ть уходят, а ты все похохатываешь, — укоряла Дарья. — Сколько тебе стукнуло?

— Девки вон говорят: посмотришь на него, это на меня значит, — все сто, послушаешь — три годика.

— Ох и весел же ты, Нилушка! Осчастливишь каку-нито дуру.

— Ну-у, со мной любая не соскучится.

Однажды Дарья вернулась из своих странствий в тревоге:

— Шутки, Нила, шутками, а в соседних-то деревнях давно уж колхозы. Все у них теперь обчее, кто, значит, не пошел в колхоз — одиночник. Землю у того отбирают, укос не дают — живи, дескать,

теперь сам по себе. Так вот и думаю: чего это наше-то Истошное забыли?

— А что думать? Гуртом-то веселее робится...

— Хорошо-то хорошо, только ведь один умеет робить, а другой привык лясы точить. Урожай-то съмут да разделят поровну. Это, значит, как?

— Так, поди, кто привык лясы точить — тот выдвинется лясы точить? А что? Тоже ведь кому-то и это надо уметь. Вот нашего Калину и не заставишь точить лясы, даже если и под ружьем заставят, так он все равно не сможет... Вот Ваня Востриков — этот сумеет...

— Оно-то, конечно, так, — согласилась Дарья. — Только, скажем, у одного семья, ребятенки мал мала меньше, а у другого взрослые парни-работники. Тот, у которого мал мала меньше, получит пуд муки, а другой, со взрослыми сыновьями, получит десять пудов. Один будет всю зиму блины есть, а второй бедовать станет. Нет уж, что-то тут не так...

— Да ты-то, мать, чего переживаешь? Нам с Калиной все равно: что колхоз, что одиночники — кузницу не отберут...

— Все равно-то все равно, но вдруг да заберут у тебя коней, корову, а тебе же еще семью заводить надо.

— Ну-у, будет семья — будет и пища. Не бедуй, мать, женись по осени.

— Коли так — подожду...

Но предвидела, видать, Дарья, что не доведется Нилу жениться по осени, что-то томило ее, сны виделись цветные, спокойные: то выкошенные нарочно луга с редкими островками цветов диковинных, то нетронутые рощи лесов, то тихие, прозрачные речки с косяками рыб, а она зачем-то водит и водит по земле белявенького мальчонку, так похожего и на Нила, и на Калину, и на ее дочь Ульяну — единственную радость.

Вечер был тих. Где-то погогатывали гуси. В палисаднике уже зрели гроздь рябины, в огороде цвела картошка. В этот день Нил вернулся из кузницы пораньше — назавтра собирались они с Калиной косить, и надо было наладить литовки. Нил не застал в доме Дарью, вышел в огород — нет, сорвал огурец, похрумкал. «В бане, наверное», — решил Нил. Но и там ее не было, только на столике у окна стояли в кружке свежие ромашки. Вдруг откуда-то из-за бани Нил услышал тихие всхлипы. Подкрался. Сквозь травы выглянул и замер. На земле, лицом вниз, лежала худенькая девчушка с льняной косицей и рыдала, а Дарья, присев на корточки, гладила голову, плечи девчушки и тихо уговаривала:

— Ластонька ты моя... веточка ты моя, ну, будет, будет... Успокойся, Уленька...

— Мама! — девчушка поднялась, села. И увидел Нил на зареванном лице ее одни глазки, голубые, Дарьины. — Мама, да сколько же можно? Я четвертый год сию взаперти, ты всю жизнь прячешься, отец всю жизнь изводится. Пойдем к нему жить...

— Нда-а, — сказал себе Нил и попятился. Что-то сломалось у него в груди и пересохло в горле. Он еще не знал, что эти глаза будут преследовать его всюду